БАЙКИ ПАТРИАРХА

Старейшему советскому сценаристу и драматургу Иосифу Леонидовичу Пруту пошел девяносто третий год. Но он не потерял ни бодрости, ни творческого задора и охотно рассказывает многие истории из своей незаурядной жизни. А она поистине феноменальна. Работники французского телевидения, снявшие фильм о нем, назвали свою ленту "Одна жизнь — один век". Иосиф Прут — участник трех войн — первой мировой, гражданской и Великой Отечественной. В 1918 году он служил во Франции в русском экспедиционном корпусе, вернувшись в Россию, вступил в Первую конную армию, затем стал журналистом, а в 1934 году по рекомендации Горького был принят в Союз писателей.

В детстве Прут общался с Федором Шаляпиным и Львом Толстым, подростком познакомился в Швейцарии с Лениным, он знал Луначарского, Фрунзе, Тухачевского, маршалов Жукова и Рокоссовского, Ильфа и Петрова, Михаила Булгакова, Качалова, Утесова, Пикассо...

Заслуженный деятель искусств России Иосиф Прут — автор многих пьес, по его сценарию поставлено тридцать два фильма — "Моя любовь", "Тринадцать", "Секретарь райкома" и другие. Сейчас он работает над сценарием на историческую тему, готовит к изданию свои мемуары. Во время бесед с Иосифом Леонидовичем я сделал несколько литературных записей его устных рассказов, которые сегодня предлагаю читателям "Голоса".

Аркадий БЕРНШТЕЙН.

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ

В середине двадцатых годов в журнал "Огонек", которым руководил М. Кольцов, пришел с жалобой старый благообразный еврей. Он рассказал сотрудникам редакции Ильфу и Петрову, что недавно получил свой первый советский паспорт, который не может его устроить. Во время подготовки этого документа, отвечая на вопрос о национальности, он сказал: "иудей". А делопроизводительница паспортного отдела внесла в соответствующую графу странную запись: "индей".

— Что же теперь делать? — с обидой вопрошал посетитель, поглаживая свою седую бороду. — В милиции сказали, что в паспорте ничего менять нельзя.

Посоветовавшись, И. Ильф и Е. Петров решили, что нужно не исправлять слово индей, а дописать к этому диковинному выражению несколько букв и одно слово. Это соломоново решение, как я узнал потом у старика, не вызвало никаких возражений властей. В паспорте старого еврея появилась такая запись: "иудейский еврей".

ОБЕД С ПИКАССО

В 1965 году я приехал в Париж к своим родственникам. На второй день мне позвонил мой дядя — двоюродный брат отца, в прошлом известный русский театральный антрепренер Леонид Давыдович Леонидов: "Приходи обедать к часу. У меня будет Пикассо".

Леонид Давыдович жил недалеко от Триумфальной арки. Когда я ровно в час добрался до его квартиры, за столом в большой комнате уже сидел Пикассо, импозантный, элегантно одетый, с живописным шелковым шарфиком вместо галстука. Мы обедали троим. Пикассо начал разговор первым. Произив меня взглядом своих черных глаз, он спросил с видимым любопытством: — Интересуются ли мной в России?

— Очень, — искренне сказал я. — И что же, там можно купить какую-либо из моих работ? — Да... мне однажды предложили.

— И вы купили? — Нет. Картина оказалась фальшивой.

— Каким образом вы смогли это определить?

— Картину посмотрели четыре знатока вашего творчества и в один голос подтвердили, что это не самая лучшая копия.

— А вы не помните, что на ней было изображено?

— Цветы и что-то еще... весьма беспредметное...

— И все-таки я не понимаю, почему вы ее не купили.

— Но я же объяснил: мне принесли копию, причем это было установлено с научной точностью.

— Дурак!

— Спасибо, мэтр. Чем же я заслужил такое лестное выражение?

— Вы же знаете: я друг вашего дяди. Купили бы эту копию, привезли бы сюда, а я мог бы сегодня написать на ней своей рукой: "Это не Пикассо" и затем поставить свою подпись. Вот вам и 50 тысяч франков!

Мэтр, по-видимому, очень низко оценил мои предпринимательские возможности. И хотя это соответствовало истине, я несколько обиделся.

Минут пять мы молчали, а дядя улыбался.

Перед сладким великий художник вновь потревожил меня неожиданным вопросом: — А анекдоты обо мне рассказывают?

— Разумеется.

— Только не вспоминайте тот дурацкий анекдот, который мне рассказал один ваш молодой поэт.

— Простите, какой именно?

— Якобы какая-то девушка пришла в кино. Когда в зале погас свет, парень, сидевший рядом, запустил ей под юбку свою руку. И тогда девушка спокойно сказала этому нахалу: "Напрасный труд, молодой человек! То, что вы там ищете, у меня на затылке. Я натуралица Пикассо".

— Совсем не смешно, — сказал я.

— А вы знаете более интересные анекдоты?

— По-моему, да.

— Ну, рассказывай, — радостно поощрил меня дядя.

— Когда Пабло Пикассо написал свою первую картину, он решил ее продать... — начал я.

— Что здесь смешного, — перебил меня художник, — это естественно.

— Подождите, мэтр, — заметил я, — самое интересное впереди.

— Давайте, давайте...

— Пришел покупатель. Вы передали ему вашу работу, а он рассеянно повертел ее в руках и спросил: "Сколько может стоить эта штука?" "А какую сумму вы можете мне предложить?" — нерешительно спросили вы. Покупатель пожал плечами: "Десять франков". "Как десять!? — ужаснулся вы. — Ведь только за один холст я заплатил

двадцать". А покупатель с наивным удивлением сказал: "Но ведь тогда он был совершенно чистым".

— Хороший анекдот, — резюмировал Леонид Давыдович, — но на сегодня хватит...

Обед, несмотря ни на что, закончился мирно.

ХЕНКИН ИЛИ ТАРАНТУЛ?

В начале тридцатых годов И. С. Козловский, Л. О. Утесов и я отбыли в Сочи. В один из дней к нам должен был приехать эстрадный куплетист Павел Рязанский, постоянный спутник Утесова, его незаменимый "абыютант", которого Леонид Осипович послал за вином в Сухуми. Мы ожидали его в гостинице, а он неожиданно появился прямо на пляже. Маленький, бледный, с безумно блуждающими глазами.

— Что случилось, Пашка? — спросил Утесов.

— Страшная новость! — закричал Рязанский.

— В чем дело?

— В Сухуми выступал Владимир Яковлевич Хенкин, а ночью в гостинице его укусила тарантул...

— Ну и что? — лениво отозвался Козловский.

— И Владимир Яковлевич умер... — трагическим шепотом произнес Рязанский.

Мы с Козловским мгновенно вскочили на ноги, а Утесов невозмутимо растянулся на своем лежаке.

— Леда, ты слышишь! — закричал Козловский. — Володи нет больше в живых.

— Это брехня, — с олимпийским спокойствием, не открывая глаз, ответил Утесов.

Тогда я подал голос: — Ну откуда у тебя такое нахальство? Мы же в Сочи, а Володя был в Сухуми. Какое у тебя основание утверждать, что Рязанский сказал неправду.

Мы еще долго убеждали Утесова серьезно отнестись к сообщению Пашки, но слово "брехня" не сходило с его уст.

В конце концов я сказал: — Леда, я тебя не понимаю... Впрочем, вы ведь всегда ладили с Владимиром Яковлевичем.

Мой нехитрый намек подействовал, и Утесов, открыв наконец глаза, назидательно произнес: — Это брехня! Если бы Володюку укусила тарантул — сдох бы тарантул!

И, действительно, весть о смерти Хенкина оказалась "сильно преувеличенной". Но сдох ли тарантул, я так и не узнал.

10